

Содержание

Ногти	7
Фридель	80
Голубь Семён Григоренко	84
Фобия	88
Почему не удавили детской шапочкой... ..	92
Капля	112
На мгновение он ослеп	114
Терек	130
Сифилис	149
Ван Гог	174
Жизнь радостна	182
Жертва	186
Старик Кондратьев	195
Элгхаш	199
Тошнота	204
От прочих мужчин я отличаюсь	208
Допрос	210
Вот и настал час	216
Для начала нам нужен... ..	239
Поиграем в корову?	243
Кулакова	247
Судья Антонина Васильевна Баранцева	251

Позор	256
Это сейчас я завистливый...	259
Крым.....	282
Любимая	288
Район назывался Панфиловкой...	292
Госпиталь	300
Нагант	350
Укладчица № 5	401
“Киевский” торт	412
Я вернусь	422
Письмо.....	447
Не больно!	461
Трактат о смерти	470
Гумус.....	477

Ногти

I

Я познакомился с Бахатовым ещё в Доме малютки. Впрочем, мы не отдавали себе отчёта, что наше знакомство состоялось, — нам было всего несколько месяцев от роду. Первое моё осмысленное восприятие Бахатова произошло в отделении восстановительной терапии, в палате для умственно отсталых детей. Бахатов с младенчества умел произвести тягостное впечатление о состоянии своего интеллекта — виной тому мятой формы череп и бесконечные слюни. Бахатовым его назвали потому, что пелёнки, в которых он находился, помимо выделений Бахатова имели штемпельную аббревиатуру “Б. Х. Т.”. Мои же пелёнки, если таковые имелись, ничего, кроме меня и моего горба, не содержали.

Я появился на свет горбуном — плод эгоизма и безответственности, резюме пьяных рук, постфактум отравленного вестибулярного аппарата. Меня не отдали к сколиозникам, а оставили на потеху у слабоумных. Эрудит-доктор придумал мне фамилию — Глостер. Королевское клеймо безграмотные сёстры частенько меняли на Клистир. Но по паспорту я — Глостер, подкидной дурак, как и Бахатов.

С рождения меня сопровождал сонм обидных поговорок и прибауток. Няньки, бывало, так и кричали: “Слышь, для тебя новый массажёр придумали, чтоб горб исправить! Зна-

ешь, как называется?!” Я отвечал: “Нет”, — а они: “Могила!” — и смеялись до колик. На медосмотр, в столовую, на прогулку меня звали, искусственно огрубляя голос под Владимира Высоцкого: “А теперь — Горбатый! Я сказал, Горбатый!” — если я мешкал. Однажды, я уже был постарше, директор нашего интерната в присутствии врачей, сестёр и нянек подозвал меня и сказал: “Угадай, как ты будешь называться, если станешь пидарасом?” Я промолчал, чувствуя подвох, и он сам ответил: “Пидарас горбатый!” — и расхохотался так искренне, что я засмеялся вместе с ним. Я научился отвечать смехом на любую выходку.

Бахатов, в сущности, тоже был нормальным, только некрасивым, и оставалось догадываться, что глотала или пила мамаша Бахатова, чтоб избавиться от него.

Но мы смогли научиться читать и писать, у меня иногда появлялись трудности с арифметикой, у Бахатова — с гуманитарными дисциплинами, однако я подчеркиваю: мы были нормальными. Специально мне и Бахатову завхоз доставал учебники, подготовленные Министерством образования для школ в Средней Азии на русском языке. Дебильные буквари-раскраски не утоляли нашего умственного голода. Иногда к нам приходили учителя из нормальной школы и рассказывали про Африку и другие страны, а завхоз показывал, как клеить конверты.

Я вспоминаю момент, когда я впервые смог осязать сознанием, понять глазами существование Бахатова. До этого я помнил все события своей жизни только спиной. Невидимые руки хватили меня за мою горбатую шкуру и несли, как чемодан. В полёте я увидел Бахатова. Он рос из горшка, похожий на бутон тюльпана, и бессмысленно выл. Меня усадили на горшок рядом с ним, и мы смогли разглядеть друг друга. Бахатов перестал плакать, засунул в рот палец и попытался обгрызть ноготь. Зубов не хватало, и Бахатов опять заплакал, но я уже знал причину его слёз. Я глянул вниз и увидел ноги Бахатова, ступни и длинные, с чёрным гуцульским орнаментом ногти.

2

В возрасте шести лет нас перевели из больницы в специальный интернат “Гирлянда”. Это было зимой. Заведующая отделением передала наши документы человеку, приехавшему на тёмно-зелёном уазике, нам собрали в дорогу оладьи и майонезную баночку с яблочным повидлом, закутали во множество одежек; одна из нянек, жалевшая меня больше других, натянула мне на горб вязаную шапочку. Бахатову дали в подарок пластмассового белого зайца с плоскими заманчивыми ушами. В дороге Бахатов обгрыз зайцу уши под череп, но держался молодцом и не плакал.

Интернат находился километрах в тридцати от города. Когда-то это был пионерский лагерь. Вокруг двухэтажного здания ещё сохранились качели всех сортов, игровые площадки для волейбола, баскетбольные щиты, небольшой стадиончик, беседки и бетонированная площадка с железной мачтой — место линеек, но всё пришло в упадок. Новые обитатели лагеря нуждались только в койках. В интернате находились чуть больше сотни детей: десятка полтора-два даунов, дюжина гидроцефалов с тыквенными головами, дистрофики с вздувшимися паучьими животами, с атрофированным телом, костяными ручками-ножками — таких штук двадцать имелось, и многочисленные разных степеней олигофрены. Таков был слабоумный контингент специнтерната “Гирлянда”, или, как поэтично называл нас директор, “Ума палаты”.

Мы зашли внутрь здания и проследовали по коридору до кабинета с плексигласовой табличкой. Человек, который приехал с нами, постучал гулким суставом в дверь, и мужской голос разрешил войти.

— Вот, привёз, — сказал человек.

Тот, кто впустил нас, стоял возле окна со стаканом в руке. На лице оставалась гримаса от содержимого стакана, но постепенно рот его разгладился. Он чуть согнулся, уперев руки в колени, и спросил почти приветливо:

— Откуда ж вы такие приехали, ребяташки? — Он улыбнулся. — От верблюда?

Бахатов чудовищно зарыдал, я чудовищно засмеялся. Взрослые переглянулись, наш конвойный достал из кармана ириску и помахал ею перед носом Бахатова.

— Ну, а как вас звать-величать? — спросил главный.

К этому вопросу нас готовили целый месяц, мы репетировали ответ под наблюдением заведующей и довели до автоматизма. Я сделал шаг вперёд и сказал:

— Александр Глостер!

Бахатов, усмирённый конфетой, вязко прошамкал:

— Серёжа Бахатов.

— А я — Игнат Борисович, — сказал главный. — Будем дружить? Я здесь директор, и все-все детки должны меня слушаться, а не то сразу в попку укольчик!

— Пора, поеду, — конвойный положил на стол папку с нашими жизнями.

— В добрый путь, — сказал весёлый Игнат Борисович и спрятал папку в сейф.

Потом пришла нянька. Она показала, где находятся наши шкафчики, мы сложили туда больничные лохмотья, и нянька научила, как запомнить свою дверцу. Вместо обеда, который уже закончился, мы доели наши оладьи. Меня и Бахатова отвели в палату и усадили каждого на свою кровать. Закономерно или случайно, но они стояли рядом.

— Вы ж два братика, — сказала нянька, вкладывая смысл.

Только она оставила нас, кровати зашевелились, и из-под одеял повылезали дети. Один свалился на пол и на четвереньках пополз в нашу сторону, издавая рычащие звуки: дрыг-дрыг-дрыг. Очевидно, эта шумовая комбинация имитировала рёв двигателя. Также я успел заметить, что у ползущего высохшие до косточек, отмершие ступни. Я приветливо проигранил губами, полагая, что с машиной нужно общаться на её языке. Нас благополучно объехали. На соседней кровати кто-то душераздирающе крикнул: “Винни-Пух, Винни-Пух!” — и забился в припадке.

Несколько лупоглазых голов поднялось над подушками. Самый взрослый мальчик начал всех успокаивать: “Мама ушла за гостинцами”, — и ещё какими-то неразборчивыми словами. А потом повернулся ко мне и неожиданно заорал: “Не бойся!” — и ударил себя по лицу.

А вот моя кровать мне очень понравилась, в больнице таких не было: старого образца, с панцирной сеткой и узорными чугунными спинками, украшенными блестящими шариками. Я сразу схватился за один из них и попытался отвернуть, но пальцы только скользили по гладкой поверхности шарика. Он не отвинчивался потому, что являлся литой частью, и это было даже лучше — я нашёл занятие своим нервным рукам.

Бахатов всегда и везде утешался обкусыванием ногтей. Отращивал и, уединившись, обкусывал. Так повелось ещё с нашего пребывания в больнице. В интернате этот ритуал сложился окончательно. Бахатов не терпел свидетелей, но я был началом его памяти, мне разрешалось всё.

Обряд проходил раз в месяц в строгой последовательности: с утра Бахатов не мыл рук и постился, на закате он доставал клочок “Комсомольской правды” или какой-нибудь другой газеты и, повернувшись лицом к солнцу, громко читал, что там написано. Затем Бахатов закатывал глаза, опускался на колени и начинал обкусывать ноготь на мизинце правой руки, следом — на безымянном, среднем, указательном, большом пальцах — ногти ни в коем случае не выплёвывались — и принимался за левую руку. Ногти обкусывались в том же порядке — от мизинца к большому пальцу.

Десять прозрачных полумесяцев Бахатов сплёвывал на газету и, в зависимости от того, как легли ногти, делал выводы о будущем. Под влиянием ногтей информация, напечатанная в газете, трансформировалась в предсказание, Бахатов получал программу поведения на следующий месяц для себя и меня. Чистота соблюдения ритуала гарантировала нашу безопасность. Гадание заканчивалось тем, что Бахатов забубренными

пальцами глубоко царапал грудь и выступившей кровью кропил ногти и бумажку, а потом всё закапывал в землю, нашёптывая неизвестные слова.

Мне бы хотелось глубже проникнуть в суть его священнодействий, но Бахатов убеждал не делать этого, говорил, что опасно. Помню, однажды я ослушался его и заглянул в бумажку с ногтями. Я мельком увидел колодец, липкая чернота которого схватила меня за голову и потянула. Я услышал за спиной жуткий собачий вой и потерял сознание. Бахатов привёл меня в чувства. Он выглядел измождённым. Я хотел было пошутить, но осёкся — Бахатов буквально истекал кровью, изорвав тело до рёбер. С его слов я понял, что он этим откупил меня от колдунца и собаки. Больше я не вмешивался в религиозную жизнь Бахатова.

Конечно, ему было трудно в течение месяца не прикасаться к ногтям. Приходилось искать искусственные заменители. Мы предпринимали тайные вылазки на окрестные свалки и там собирали пробки из-под шампанского, пластмассовые крышки и вообще все мягкие пластиковые предметы.

Я пытался занять Бахатова отвинчиванием шариков. Года два он вяло следовал моему примеру, потом забросил, говорил, что не видит смысла. Я объяснял ему, что в этом и есть глубокий смысл — отвинчивать неотвинчиваемое. Бахатов лишь качал головой и улыбался.

3

А в остальном наши дни текли спокойно, сытно и размеренно. В те времена государство кормило нас на пять рублей в сутки. Мы получали по воскресеньям шоколад и даже праздновали Новый год и Первомай. На праздники всех детей звали по именам и только провинившихся или обгадившихся — по кличкам. Правда и то, что безропотному большинству было всё равно, как звать, чем кормят и в чём они спят. Далёкие от мира и речи, они существовали запредельной немой мыслью, которая едва

шевелила их медленные лица. Некоторые дети не разговаривали, а пользовались жестами. Играли тоже по-особенному, в одиночку, сидели без движения, что-то шептали, а игрушку держали в руке. Сюжетные события разыгрывались в воображении. Спросишь такого, что он видит, а тебе в ответ: “Прекрасных зайчиков”, — и ни слова больше. Со многими мы подружились. Они оказались славными: и механический ползун Толя-Вездеход, и гидроцефал Димка, по прозвищу Чеснок, и Сульфат Магний Ибрагим, прилежный даун, и Катька-Надоела-Голова, чудаковатая девчонка, — всех не перечислишь.

Они умирали тихо и незаметно: кто во сне, кто в момент кормления; шейка будто надламывалась, голова свешивалась набок и глаза леденели. Всегда умирали по двое, с небольшим интервалом. Каждому находился братик или сестричка в смерти. Если родные не приезжали за трупами, их хоронили на собственном кладбище, находившемся на территории интерната.

Кладбище было хозяйственной гордостью Игната Борисовича. Из гуманных соображений его разместили подальше от детских глаз. По эстетическим соображениям места захоронения окружала живописная парковая природа. Игнат Борисович особенно упирал на то, что за могилками у нас всегда присматривают.

Самой нелепой смертью умер, пожалуй, только наш Толя-Вездеход. Он ползал, надо сказать, замечательно, преодолевая трудные поверхности. Увязался он как-то с нами, ходячими, гулять и угодил в старую выгребную яму — видно, затаило проклятую зелёной ряской. Вездеход, приняв её за лужайку, ушёл на дно, как и полагается тяжёлой металлоконструкции, гордо и тихо, без криков о помощи.

Но в свободное от смерти время всё же бывало весело, особенно в Новый год. В самой большой палате койки отодвигались к стенам, а в центре ставилась ёлка. За неделю до торжества все садились мастерить игрушки: вырезали из старых “Огоньков” яркие картинки, наклеивали на картон, а няньки делали нитяные петельки. Мы разучивали стихи и песни. Те, кто мог, украшали окна бумажными снежинками. Под вечер

Игнат Борисович приносил из кабинета телевизор, включал его, и начинался праздник. До Московских курантов мы успевали поводить хоровод вокруг ёлки, развлечь себя и медперсонал самодеятельными номерами, поиграть в подвижные игры типа “Кто быстрее перенесёт мамины покупки” — любимая игра Игната Борисовича. Он ужасно смеялся, глядя, как мы сшибались лбами, переноса со стула на стул импровизированные мешочки с покупками загадочной мамы. Потом мы отплясывали под аккомпанемент нашего музыканта Власика. Он разводил пустыми руками, имитируя игру на баяне, при этом всегда мычал один и тот же мотив: “На танцующих утят быть похожими хотят...” — и в такт притоптывал ножкой. Мы выделяли танцевальные па, приседали, кружились — воображаю, насколько потешно это выглядело в моём исполнении, — а Игнат Борисович, все сёстры, санитары и няньки хлопали в ладоши. Ровно в девять нам наливали побродившего компоту и укладывали спать, то есть Новый год мы встречали во сне.

4

В будние дни по утрам мы получали образование. Наша школа, то есть место, где проходили занятия, находилась на первом этаже интерната. Одну из комнат преобразовали в учебный класс. Поставили несколько стареньких парт — подарок совхозных шефов, а на стену повесили доску. Парты были изрисованы прежними детьми, и благодаря этим каракулям я ощущал себя настоящим школьником. Наш урок длился около получаса, и в день больше одного предмета не преподавали, чтоб не перегружать наши маломощные мозги.

В школе, кроме меня и Бахатова, учились ещё шесть ребят. Я сидел за одной партой с Бахатовым. Мы занимались по индивидуальной программе и были единственными, кому ставили настоящие оценки в журнал. Остальным раздавали картонные “пятёрки”. По-моему, они и в школу-то ходили только ради этих игрушек.

Учителя, которые приходили из посёлка, побаивались нас. Их отвращали наши лица, неправильные туловища, невнятные голоса, мимика, жесты — всё вызывало брезгливый страх. Как-то на уроке математики Бахатову долго не давалась задачка, он провозился над ней весь урок, вдруг его осенило, он нашёл решение и, радостно гудя, подбежал к молоденькой учительнице. Она упала в обморок — так испугалась Бахатова.

Я с благодарностью вспоминаю аспирантов мединститута, чьи работы каким-то образом касались вопросов педагогики для слабоумных. За полтора года, что они тренировались на нас, мы освоили письмо, читали из специальных книжек, а потом рассказывали, что поняли. И это было очень интересно.

Потом аспирантов сменили обыкновенные учителя. Уроки литературы превратились в чтение вслух сказок, урок языка — в малевание палочек и крючочков. Учителя-мужчины выпивали с Игнатом Борисовичем и весь урок сидели безмолвные у окна. Кто-то, наоборот, оживлялся и вместо положенной географии или ботаники начинал вдруг говорить с нами о жизни, откровенничая, как с пустым пространством. На уроке истории однажды я услышал о своём однофамильце. Нам рассказывали о средневековой Англии, войне Алой и Белой Роз и горбатым герцоге Ричарде Глостере. Много лет спустя, в фильме Алана Паркера “Стена”, я увидел мультипликационную схватку цветов, больше похожую на совокупление. Я был поражён тому, что именно так и воспринимал цветочную войну.

От пионеров в наследство осталась небольшая библиотека. Я прочел её всю. Очень мне нравились стихи и вообще сама возможность рифмования. В одной детской книжке под картинкой был стишок:

Двери распахнул отец:
— Получайте огурец!

Не знаю почему, но ситуация представлялась мне необычайно комичной. Сидят себе люди в комнате, вдруг — бах! —